

ГУЗЕЛЬ ЯХИНА



ГУЗЕЛЬ ЯХИНА

«Зулейха»
открывает
глаза

РОМАН



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ



УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Я90

Публикуется по соглашению с литературным агентством *ELKOST Intl.*

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Автор и редакция выражают благодарность художнице Анне Зайцевой за иллюстрации, созданные по мотивам романа, а также Санкт-Петербургской академии художеств за любезно предоставленное разрешение использовать иллюстрации из ее фонда в настоящем издании

Книга продолжает серию “Иллюстрированный бестселлер”, у истоков которой стоял известный художник Клим Ли (1946–2022)

Яхина, Гузель Шамилевна.

Я90 Зулейха открывает глаза : роман / Гузель Яхина; предисл. Л. Улицкой. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2022. — 452, [4] с.: ил. — (Иллюстрированный бестселлер).

ISBN 978-5-17-146400-4

Гузель Яхина — самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени, лауреат премий “Большая книга” и “Ясная Поляна”, автор бестселлеров “Зулейха открывает глаза”, “Дети мои”, “Эшелон на Самарканд”.

Действие романа “Зулейха открывает глаза” начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагон-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь.

Всем раскулаченным и переселенным посвящается.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-146400-4

© Яхина Г.Ш.
© Улицкая Л.Е., предисловие
© Зайцева А.В., иллюстрации
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”

ЛЮБОВЬ И НЕЖНОСТЬ В АДУ. *Людмила Улицкая* 7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МОКРАЯ КУРИЦА

ОДИН ДЕНЬ 11

СТУК В ОКНО 39

ВСТРЕЧА 59

ЧАСТЬ ВТОРАЯ КУДА?

В ДОРОГУ 83

КОФЕ 99

КАЗАНЬ 120

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 140

ПОБЕГ	164
БАРЖА	186

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЖИТЬ

ТРИДЦАТЬ	213
РОДЫ	227
ПЕРВАЯ ЗИМА	247
ПОСЕЛОК	286
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК	322
ШАХ-ПТИЦА	346
ЧЕТЫРЕ АНГЕЛА	361
ЧЕРНЫЙ ШАТЕР.....	382

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВОЙНА	407
ЮЗУФ И ЗУЛЕЙХА	424
СЛОВАРЬ ТАТАРСКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ	451



Любовь и нежность в аду

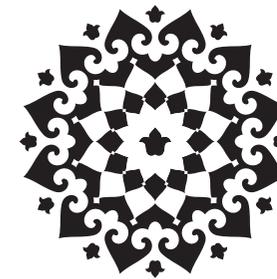
Э тот роман принадлежит тому роду литературы, который, казалось бы, совершенно утрачен со времени распада СССР. У нас была прекрасная плеяда двукультурных писателей, которые принадлежали одному из этносов, населяющих империю, но писавших на русском языке. Фазиль Искандер, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким, Олжас Сулейменов, Чингиз Айтматов... Традиции этой школы — глубокое знание национального материала, любовь к своему народу, исполненное достоинства и уважения отношение к людям других национальностей, деликатное прикосновение к фольклору. Казалось бы, продолжения этому не будет, исчезнувший материк. Но произошло редкое и радостное событие — пришел новый прозаик, молодая татарская женщина Гузель Яхина и легко встала в ряд этих мастеров.

Роман “Зулейха открывает глаза” — великолепный дебют. Он обладает главным качеством настоящей литературы — попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, дышит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которые не так уж часто встречаются в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы.

Несколько кинематографичный стиль повествования усиливает драматизм действия и яркость образов, а публицистичность не только не разрушает повествования, но, напротив, оказывается достоинством романа. Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения, тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезней времени. Словосочетание “женская литература” несет в себе пренебрежительный оттенок — в большой степени по милости мужской критики. Между тем женщины лишь в двадцатом веке освоили профессии, которые до этого времени считались мужскими: врачи, учителя, ученые, писатели. Плохих романов за время существования жанра мужчинами написано в сотни раз больше, чем женщинами, и с этим фактом трудно поспорить. Роман Гузель Яхиной — вне всякого сомнения — женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду..

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ,
2015 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МОКРАЯ КУРИЦА



ОДИН ДЕНЬ



Зулейха открывает глаза. Темно, как в погребе. Сонно вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный жеребенок шлепает губами, ища материнское вымя. За окошком у изголовья — глухой стон январской метели. Но из щелей не дует — спасибо Муртазе, законопатил окна до холодов. Муртаза — хороший хозяин. И хороший муж. Он раскатисто и сочно всхрапывает на мужской половине. Спи крепче, перед рассветом — самый глубокий сон.

Пора. Аллах Всемогущий, дай исполнить задуманное — пусть никто не проснется.

Зулейха бесшумно спускает на пол одну босую ногу, вторую, опирается о печь и встает. За ночь та остыла, тепло ушло, холодный пол обжигает ступни. Обуться нельзя — бесшумно пройти в войлочных ката не получится, какая-нибудь половица да и скрипнет. Ничего, Зулейха потерпит. Держась рукой за шершавый бок печи, пробирается к выходу с женской половины. Здесь узко и тесно, но она помнит каждый угол, каждый уступ — полжизни скользит туда-сюда, как маятник, целыми днями: от котла — на мужскую половину с полными и горячими пиалами, с мужской половины — обратно с пустыми и холодными.

Сколько лет она замужем? Пятнадцать из своих тридцати? Это даже больше половины жизни, наверное. Нужно будет спросить у Муртазы, когда он будет в настроении, — пусть подсчитает.

Не запнуться о палас. Не удариться босой ногой о кованый сундук справа у стены. Перешагнуть скрипучую доску у изгиба печи. Беззвучно прошмыгнуть за ситцевую чаршау, отделяющую женскую часть избы от мужской... Вот уже и дверь недалеко.

Храп Муртазы ближе. Спи, спи ради Аллаха. Жена не должна таиться от мужа, но что поделаешь — приходится.

Теперь главное — не разбудить животных. Обычно они спят в зимнем хлеву, но в сильные холода Муртаза велит брать молодняк и птицу домой. Гуси не шевелятся, а жеребенок стукнул копытцем, встряхнул головой — проснулся, чертяка. Хороший будет конь, чуткий. Она протягивает руку сквозь занавеску, прикасается к бархатной морде: успокойся, свои. Тот благодарно пыхает ноздрями в ладонь — признал. Зулейха вытирает мокрые пальцы об исподнюю рубаху и мягко толкает дверь плечом. Тугая, обитая на зиму войлоком, она тяжело подается, сквозь щель влетает колкое морозное облако. Делает шаг, переступая высокий порог, — не хватало еще наступить на него именно сейчас и потревожить злых духов, тьфу-тьфу! — и оказывается в сенях. Приотворяет дверь, опирается о нее спиной.

Слава Аллаху, часть пути пройдена.

В сенях холодно, как на улице, — кожу щиплет, рубаха не греет. Струи ледяного воздуха бьют сквозь щели пола в босые ступни. Но это не страшно.

Страшное — за дверью напротив.

Убырлы карчык — Упыриха. Зулейха ее так про себя называет. Слава Всевышнему, свекровь живет с ними не в одной избе. Дом Муртазы просторный, в две избы, соединенные общими сенями. В день, когда сорокапятилетний Муртаза привел в дом пятнадцатилетнюю Зулейху, Упыриха с мученической скорбью на лице сама перетаскала свои многочисленные сундуки, тюки и посуду в гостевую избу и заняла ее всю. “Не тронь!” — грозно крикнула она сыну,

когда тот попытался помочь с переездом. И не разговаривала с ним два месяца. В тот же год начала быстро и безнадежно слепнуть, а еще через некоторое время — глухнуть. Спустя пару лет была слепа и глуха, как камень. Зато теперь разговаривала много, не остановить.

Никто не знал, сколько ей было на самом деле лет. Она утверждала, что сто. Муртаза недавно сел подсчитывать, долго сидел — и объявил: мать права, ей действительно около ста. Он был поздним ребенком, а сейчас уже сам — почти старик.

Упыриха обычно просыпается раньше всех и выносит в сени свое бережно хранимое сокровище — изящный ночной горшок молочно-белого фарфора с нежно-синими васильками на боку и причудливой крышкой (Муртаза привез как-то в подарок из Казани). Зулейхе полагается вскочить на зов свекрови, опорожнить и осторожно вымыть драгоценный сосуд — первым делом, перед тем как топить печь, ставить тесто и выводить корову в стадо. Горе ей, если проспит эту утреннюю побудку. За пятнадцать лет Зулейха проспала дважды — и запретила себе вспоминать, что было потом.

За дверью пока — тихо. Ну же, Зулейха, мокрая курица, поторопись. Мокрой курицей — *жебегиан тавык* — ее впервые назвала Упыриха. Зулейха не заметила, как через некоторое время и сама стала называть себя так.

Она крадется в глубь сеней, к лестнице на чердак. Нащупывает гладко отесанные перила. Ступени крутые, подмерзшие доски чуть слышно постанывают. Сверху веет стывшим деревом, мерзлой пылью, сухими травами и едва различимым ароматом соленой гусятины. Зулейха поднимается — шум метели ближе, ветер бьет о крышу и воем в углах.

По чердаку решает ползти на четвереньках — если идти, доски будут скрипеть прямо над головой у спящего Муртазы. А ползком она прошмыгнет, веса в ней — всего ничего, Муртаза одной рукой поднимает, как барана. Она подтягивает ночную рубаху к груди, чтобы не испачкалась в пыли, перекручивает, берет конец в зубы — и на ощупь пробирается между ящиками, короба-

ми, деревянными инструментами, аккуратно переползает через поперечные балки. Утыкается лбом в стену. Наконец-то.

Приподнимается, выглядывает в маленькое чердачное окошко. В темно-серой предутренней мгле едва проглядывают занесенные снегом дома родного Юлбаша. Муртаза как-то считал — больше ста дворов получилось. Большая деревня, что говорить. Деревенская дорога, плавно изгибаясь, рекой утекает за горизонт. Кое-где в домах уже зажглись окна. Скорее, Зулейха.

Она встает и тянется вверх. В ладони ложится что-то тяжелое, гладкое, крупно-пупырчатое — соленый гусь. Желудок тотчас вздрагивает, требовательно рычит. Нет, гуся брать нельзя. Отпускает тушку, ищет дальше. Вот! Слева от чердачного окошка висят большие и тяжелые, затвердевшие на морозе полотнища, от которых идет еле слышный фруктовый дух. Яблочная пастила. Тщательно проваренная в печи, аккуратно раскатанная на широких досках, заботливо высушенная на крыше, впитавшая жаркое августовское солнце и прохладные сентябрьские ветры. Можно откусывать по чуть-чуть и долго рассасывать, катая шершавый кислый кусочек по небу, а можно набить рот и жевать, жевать упругую массу, сплевывая в ладонь изредка попадающиеся зерна... Рот мгновенно заливаает слюна.

Зулейха срывает пару листов с веревки, скручивает их плотно и засовывает под мышку. Проводит рукой по оставшимся — много, еще очень много осталось. Муртаза не должен догадаться.

А теперь — обратно.

Она встает на колени и ползет к лестнице. Свиток пастилы мешает двигаться быстро. Вот ведь действительно — мокрая курица, не догадалась какую-нибудь торбу взять с собой. По лестнице спускается медленно: ног не чувствует — заоченели, приходится ставить онемевшие ступни боком, на ребро. Когда достигает последней ступеньки, дверь со стороны Упырихи с шумом распаивается, и светлый, едва различимый силуэт возникает в черном проеме. Стучает об пол тяжелая клюка.

— Есть кто? — спрашивает Упыриха темноту низким мужским голосом.

Зулейха замирает. Сердце ухает, живот сжимается ледяным комом. Не успела... Пастила под мышкой оттаивает, смягчается.

Упыриха делает шаг вперед. За пятнадцать лет слепоты она выучила дом наизусть — передвигается в нем уверенно, свободно.

Зулейха взлетает на пару ступенек вверх, крепче прижимая к себе локтем размякшую пастилу.

Старуха ведет подбородком в одну сторону, в другую. Не слышит ведь ничего, не видит — а чувствует, старая ведьма. Одно слово — Упыриха. Клюка стучит громко — ближе, ближе. Эх, разбудит Муртазу...

Зулейха перескакивает еще на несколько ступенек выше, жмет к перилам, облизывает пересохшие губы.

Белый силуэт останавливается у подножия лестницы. Слышно, как старуха принюхивается, с шумом втягивая ноздрями воздух. Зулейха подносит ладони к лицу — так и есть, пахнут гусятиной и яблоками. Вдруг Упыриха делает ловкий выпад вперед и наотмашь бьет длинной клюкой по ступеням лестницы, словно разрубая их мечом пополам. Конец палки свистит где-то совсем близко и со звоном вонзается в доску в полупальце от босой ступни Зулейхи. Тело слабеет, тестом растекается по ступеням. Если старая ведьма ударит еще раз... Упыриха бормочет что-то невнятное, подтягивает к себе клюку. Глухо звякает в темноте ночной горшок.

— Зулейха! — зычно кричит Упыриха на сыновью половину избы.

Так обычно начинается утро в доме.

Зулейха слглатывает высохшим горлом комок плотной слюны. Неужели обошлось? Аккуратно переставляя ступни, сползает по лестнице. Выжидает пару мгновений.

— Зулейха-а-а!

А вот теперь — пора. Третий раз повторять свекровь не любит. Зулейха подскакивает к Упырихе — “Лечу, лечу, мама!” — и берет из ее рук тяжелый, покрытый теплой липкой испариной горшок, как делает это каждый день.

— Явилась, мокрая курица, — ворчит та. — Только спать и горазда, лентяйка...

Муртаза наверняка проснулся от шума, может выйти в сени. Зулейха сжимает под мышкой пастилу (не потерять бы на улице!), нащупывает ногами на полу чьи-то валенки и выскакивает на улицу. Метель бьет в грудь, берет в плотный кулак, пытаюсь сорвать с места. Рубаха поднимается колоколом. Крыльцо за ночь превратилось в сугроб — Зулейха спускается вниз, еле угадывая ногами ступеньки. Проваливаясь почти по колено, бредет к отхожему месту. Борется с дверью, открывая ее против ветра. Швыряет содержимое горшка в оледенелую дыру. Когда возвращается в дом, Упырихи уже нет — ушла к себе.

На пороге встречает сонный Муртаза, в руке — керосиновая лампа. Кустистые брови сдвинуты к переносице, морщины на мятых со сна щеках глубоки, словно вырезаны ножом.

— Сдурела, женщина? В метель — нагишом!

— Я только горшок мамин вынесла — и обратно...

— Опять хочешь ползими больная провалиться? И весь дом на меня взвалить?

— Что ты, Муртаза! Я и не замерзла совсем. Смотри! — Зулейха протягивает вперед ярко-красные ладони, плотно прижимая локти к поясу, — под мышкой топорщится пастила. Не видно ли ее под рубахой? Ткань промокла на снегу, липнет к телу.

Но Муртаза сердится, на нее даже не смотрит. Сплювывает в сторону, растопыренной ладонью оглаживает бритый череп, расчесывает взлохмаченную бороду.

— Есть давай. А расчистишь двор — собирайся. За дровами поедем.

Зулейха низко кивает и шмыгает за чаршау.

Получилось! У нее получилось! Ай да Зулейха, ай да мокрая курица! Вот она, добыча: две смятые, перекрученные, слипшиеся тряпицы вкуснейшей пастилы. Удастся ли отнести сегодня? И где это богатство спрятать? Дома оставить нельзя: в их отсутствие Упыриха копается в вещах. Придется носить с собой. Опас-

но, конечно. Но сегодня Аллах, кажется, на ее стороне — должно повезти.

Зулейха туго заворачивает пастилу в длинную тряпицу и обматывает вокруг пояса. Сверху опускает исподнюю рубаху, надевает кульмэк, шаровары. Переплетает косы, накидывает платок.

Плотный сумрак за окошком в изголовье ее ложа становится жиже, разбавляется чахлым светом пасмурного зимнего утра. Зулейха откидывает занавески — все лучше, чем в темноте работать. Керосинка, стоящая на углу печи, бросает немного косога света и на женскую половину, но экономный Муртаза подкрутил фитилек так низко, что огонек почти не виден. Не страшно, она могла бы все делать и с завязанными глазами.

Начинается новый день.



Еще до полудня утренняя метель стихла и солнце проглянуло на ярко заголубевшем небе. Выехали за дровами.

Зулейха сидит на задке саней спиной к Муртазе и смотрит на удаляющиеся дома Юлбаша. Зеленые, желтые, темно-голубые, они яркими грибами выглядывают из-под сугробов. Высокие белые свечи дыма тают в небесной сини. Громко и вкусно хрустит под полозьями снег. Изредка фыркает и встряхивает гривой бодрая на морозе Сандугач. Старая овечья шкура под Зулейхой согревает. А на животе теплеет заветная тряпица — тоже греет. Сегодня, лишь бы успеть отнести сегодня...

Руки и спина ноют — ночью намело много снега, и Зулейха долго вгрызалась лопатой в сугробы, расчищая во дворе широкие дорожки: от крыльца — к большому амбару, к малому, к нужнику, к зимнему хлеву, к заднему двору. После работы так приятно побездельничать на мерно покачивающихся санях — сесть поудобнее, закутаться поглубже в пахучий тулуп, засунуть коченеющие ладони в рукава, положить подбородок на грудь и прикрыть глаза...

— Просыпайся, женщина, приехали.

Громадины деревьев обступили сани. Белые подушки снега на еловых лапах и раскидистых головах сосен. Иней на березовых ветвях, тонких и длинных, как женский волос. Могучие валы сугробов. Молчание — на многие версты окрест.

Муртаза повязывает на валенки плетеные снегоступы, спрыгивает с саней, закидывает на спину ружье, заправляет за пояс большой топор. Берет в руки палки-упоры и, не оглядываясь, уверенно тропит дорожку в чащу. Зулейха — следом.

Лес возле Юлбаша хороший, богатый. Летом кормит деревенских крупной земляникой и сладкой зернистой малиной, осенью — пахучими грибами. Дичи много. Из глубины леса течет Чишмэ — обычно ласковая, мелкая, полная быстрой рыбы и неповоротливых раков, а по весне стремительная, ворчащая, набухшая талым снегом и грязью. Во времена Большого голода только они и спасали — лес и река. Ну и милость Аллаха, конечно.

Сегодня Муртаза далеко заехал, почти до конца лесной дороги. Дорога эта была проложена в давние времена и вела до границы светлой части леса. Потом втыкалась в Крайнюю поляну, окруженную девятью кривыми соснами, и обрывалась. Дальше пути не было. Лес заканчивался — начинался дремучий урман, буреломная чащоба, обиталище диких зверей, лесных духов и всякой дурной нечисти. Вековые черные ели с похожими на копья острыми вершинами росли в урмане так часто, что коню не пройти. А светлых деревьев — рыжих сосен, крапчатых берез, серых дубов — там не было вовсе.

Говорили, что через урман можно прийти к землям марийцев — если идти от солнца много дней подряд. Да какой же человек в здравом уме решится на такое?! Даже во времена Большого голода деревенские не смели преступать границу Крайней поляны: объели кору с деревьев, перемололи желуди с дубов, разрыли мышинные норы в поисках зерна — в урман не ходили. А кто ходил — тех больше не видели.

Зулейха останавливается на мгновение, ставит на снег большую корзину для хвороста. Беспokoйно оглядывается — все-таки зря Муртаза заехал так далеко.

— Далекo еще, Муртаза? Я уже Сандугач сквозь деревья не вижу.

Муж не отвечает — пробирается вперед по пояс в целине, упираясь в сугробы длинными палками и сминая хрусткий снег широкими снегоступами. Только облачко морозного пара то и дело поднимается над головой. Наконец останавливается возле ровной высокой березы с пышным наростом чаги, одобрительно хлопает по стволу: вот эту.

Сначала утаптывают снег вокруг. Потом Муртаза скидывает тулуп, ухватывает крепче изогнутое топориче, указывает топором в просвет между деревьями (туда будем валить) — и начинает рубить.

Лезвие взблескивает на солнце и входит в березовый бок с коротким гулким “чах”. “Ах! Ах!” — отзывается эхо. Топор стесывает толстую, причудливо изрисованную черными буграми кору, затем вонзается в нежно-розовую древесную мякоть. Щепка брызжет, как слезы. Эхо наполняет лес.

“И в урмане слышно”, — тревожно думает Зулейха. Она стоит чуть поодаль, по пояс в снегу, обхватив корзину, — и смотрит, как Муртаза рубит. Далекo, с оттягом, замахивается, упруго сгибает стан и метко бросает топор в щепастую белую щель на боку дерева. Сильный мужчина, большой. И работает умело. Хороший муж ей достался, грех жаловаться. Сама-то она мелкая, еле достает Муртазе до плеча.

Скоро береза начинает вздрагивать сильнее, стонать громче. Выеденная топором в стволе рана похожа на распахнутый в немом крике рот. Муртаза бросает топор, отряхивает с плеч сучки и веточки, кивает Зулейхе: помогай. Вместе они упираются плечами в шершавый ствол и толкают его — сильнее, сильнее. Шкворчащий треск — и береза с громким прощальным стоном рушится оземь, поднимая в небо облака снежной пыли.

Муж, оседлав покоренное дерево, обрубаёт с него толстые ветки. Жена — обламывает тонкие и собирает их в корзину вместе с хворостом. Работают долго, молча. Поясницу ломит, плечи наливаются усталостью. Руки, хоть и в рукавицах, мерзнут.

— Муртаза, а правда, что твоя мать по молодости ходила в урман на несколько дней и вернулась целехонькая? — Зулейха распрямляет спину и выгибается в поясе, отдыхая. — Мне абыстай рассказывала, а ей — её бабка.

Тот не отвечает, примериваясь топором к кривой узловатой ветке, торчащей из ствола.

— Я бы умерла от страха, если бы оказалась там. У меня бы тут же ноги отнялись, наверное. Лежала бы на земле, глаза зажмурило — и молилась бы не переставая, пока язык шевелится.

Муртаза крепко ударяет, и ветка пружинисто отскакивает в сторону, гудя и подрагивая.

— Но, говорят, в урмане молитвы не работают. Молись — не молись, все одно — погибнешь... Как ты думаешь... — Зулейха понижает голос, — ...есть на земле места, куда не проникает взор Аллаха?

Муртаза широко размахивается и глубоко вгоняет топор в звенящее на морозе бревно. Снимает малахай, утирает ладонью раскрасневшийся, пышущий жаром голый череп и смачно плюет под ноги.

Опять принимают за работу.

Скоро корзина для хвороста полна — такую не поднять, только волоочь за собой. Береза — очищена от веток и разрублена на несколько бревен. Длинные ветви лежат аккуратными вязанками в сугробах вокруг.

Не заметили, как стало темнеть. Когда Зулейха поднимает глаза к небу, солнце уже скрыто за рваными клоками туч. Налетает сильный ветер, свистит и взвизгивает поземка.

— Поедем домой, Муртаза, опять метель начинается.

Муж не отвечает, продолжая обматывать веревками толстые связки дров. Когда последняя вязанка готова, метель уже волком завывает меж деревьев, протяжно и зло.

Он указывает меховой рукавицей на бревна: сначала перетаскаем их. Четыре бревна в обрубках бывших ветвей, каждое — длиннее Зулейхи. Муртаза, крикнув, отрывает от земли один конец самого толстого бревна. Зулейха берется за второй. Сразу поднять не получается, она долго копошится, приноравливаясь к толстому и шершавому дереву.

— Ну же! — нетерпеливо вскрикивает Муртаза. — Женщина!

Наконец сумела. Обняв бревно обеими руками, прижавшись грудью к розоватой белизне свежего дерева, ощерившейся длинными острыми щепками. Двигаются к саням. Идут медленно. Руки дрожат. Лишь бы не уронить, Всевышний, лишь бы не уронить. Если упадет на ногу — останешься калекой на всю жизнь. Становится жарко — горячие струйки текут по спине, животу. Заветная тряпица под грудью промокает насквозь — пастила будет отдавать солью. Это ничего, только бы успеть ее сегодня отнести...

Сандугач послушно стоит на том же месте, лениво перебирая ногами. Волков этой зимой мало, субхан Алла, поэтому Муртаза не боится оставлять лошадь одну надолго.

Когда затащили бревно на сани, Зулейха падает рядом, скидывает рукавицы, ослабляет платок на шее. Дышать больно, словно бежала, не останавливаясь, через всю деревню.

Муртаза, не сказав ни слова, шагает обратно к дровам. Зулейха сползает с саней и тащится следом. Перетаскивают оставшиеся бревна. Потом вязанки из толстых ветвей. Затем из тонких.

Когда дрова уложены на санях, лес уже укрыт плотными зимними сумерками. У пня свежесрубленной березы осталась только корзина Зулейхи.

— Хворост сама принесешь, — бросает Муртаза и принимается закреплять дрова.

Ветер разыгрался не на шутку, сердито кидает облака снега во все стороны, замечая вытопанные людьми следы. Зулейха прижимает рукавицы к груди и бросается по еле заметной тропинке в темноту леса.

Пока добиралась до знакомого пня, корзину уже замело. Отламывает с куста ветку, принимается бродить вокруг, тыкая прутом в снег. Если потеряет — плохо ей придется. Муртаза поругает и остынет, а вот Упыриха — та набранится власть, изойдет ядом, будет припоминать эту корзину до самой смерти.

Да вот же она, милая, лежит! Зулейха выволакивает тяжелую корзину из-под толщи сугроба и облегченно выдыхает. Можно возвращаться. Но куда идти? Вокруг свирепо танцует метель. Белые потоки снега стремительно несутся по воздуху вверх и вниз, окутывая Зулейху, пеленая, опутывая. Небо огромной серой ватой провисло меж острых вершин елей. Деревья вокруг налились темнотой и стали похожи друг на друга, как тени.

Тропы — нет.

— Муртаза! — кричит Зулейха, в рот швыряет снегом. — Муртаза-а-а!..

Метель поет, звенит, свиритит в ответ.

Тело слабеет, ноги становятся рыхлыми, будто сами из снега. Зулейха оседает на пень спиной к ветру, придерживая одной рукой корзину, а другой ворот тулупа. Уходить с места нельзя — заплутает. Лучше ждать здесь. Может ли Муртаза оставить ее в лесу? Вот бы Упыриха обрадовалась... А как же добытая пастила? Неужели зря?..

— Муртаза-а-а!

Из снежного облака выступает большая темная фигура в малахе. Крепко ухватив жену за рукав, Муртаза волочет ее за собой через буран.

На сани сесть не разрешает — дров много, лошадь не выдюжит. Так и идут: Муртаза спереди, ведя Сандугач под уздцы, а Зулейха следом, держась за задок и еле перебирая заплетающимися ногами. В валенки набился снег, но вытряхивать нет сил. Сейчас нужно — успевать шагать. Переставлять ноги: правую, левую, правую, левую... Ну давай же, Зулейха, мокрая курица. Сама знаешь: если отстать от саней — тебе конец, Муртаза не заметит. Так и замерзнешь в лесу.

А все-таки какой он хороший человек — вернулся за ней. Мог бы и оставить там, в чаще, — кому какое дело, жива она или нет. Сказал бы: заблудилась в лесу, не нашел — через день никто бы про нее и не вспомнил...

Оказывается, можно шагать и с закрытыми глазами. Так даже лучше — ноги работают, а глаза отдыхают. Главное — крепко держаться за сани, не разжимать пальцы...

Снег больно ударяет в лицо, забивается в нос и в рот. Зулейха приподнимает голову, отряхивает. Сама — лежит на земле, впереди — удаляющийся задок саней, вокруг — белая круговерть метели. Встает, догоняет сани, уцепляется покрепче. Решает не закрывать глаза до самого дома.



Въезжают во двор уже затемно. Сгружают дрова у поленницы (Муртаза наколет завтра), распрягают Сандугач, укрывают сани.

Подернутые густым инеем стекла на стороне Упырихи темны, но Зулейха знает: свекровь чувствует их приезд. Стоит сейчас перед окном и прислушивается к движениям половых досок: ждет, как они сначала вздрогнут от удара входной двери, а после пружинисто задрожат под тяжелыми шагами хозяина. Муртаза разделется, умоется с дороги — и пройдет на половину матери. Он это называет *поговорить вечером*. О чем можно разговаривать с глухой старухой? Зулейха не понимает. Но разговоры эти были долгими, иногда длились часами. Муртаза выходил от матери спокойный, умиротворенный, мог даже улыбнуться или пошутить.

Сегодня это вечернее свидание Зулейхе на руку. Как только муж, надев чистую рубаху, уходит к Упырихе, Зулейха набрасывает на плечи не просохший еще тулуп и выскакивает из избы.

Буран заметает Юлбаш крупным жестким снегом. Зулейха бредет по улице против ветра, наклонившись вперед низко, как в молитве. Маленькие окошки домов, светящиеся уютным желтым светом керосинок, еле проглядывают во тьме.

Вот и околица. Здесь, под забором последнего дома, носом к полю, хвостом к Юлбашу, живет *басу капка иясе* — дух околицы. Зулейха сама его не видела, но, говорят, сердитый очень, ворчливый. А как иначе? Работа у него такая: злых духов от деревни отгонять, через околицу не пускать, а если у деревенских просьба какая к лесным духам появится — помочь, стать посредником. Серьезная работа, не до веселья.

Зулейха распахивает тулуп, долго ковыряется в складках кульмэк, разматывая влажную тряпицу на поясе.

— Извини, что часто беспокою, — говорит она в метель. — Ты уж и в этот раз — помоги, не откажи.

Угодить духу — дело непростое. Знать надо, какой дух что любит. Живущая в сених *бичура*, к примеру, неприхотлива. Выставишь ей пару немытых тарелок с остатками каши или супа — она слижет ночью, и довольна. Банная *бичура* покапризнее, ей орехи или семечки подавай. Дух хлева любит мучное, дух ворот — толченую яичную скорлупу. А вот дух околицы — сладкое. Так мама учила.

Когда Зулейха впервые пришла просить *басу капка иясе* об одолжении — поговорить с *зират иясе*, духом кладбища, чтобы присмотрел за могилами дочек, укрыл их снегом потеплее, отогнал злых озорных *шурале*, — принесла конфеты. Затем таскала орешки в меду, рассыпчатые кош-теле, сушеные ягоды. Пастилу принесла впервые. Понравится ли?

Она разлепляет слипшиеся листы и по одному бросает перед собой. Ветер подхватывает их и уносит куда-то в поле — покрутит-повертит, да и принесет к норе *басу капка иясе*.

Ни один лист не вернулся обратно к Зулейхе — дух околицы принял угощение. Значит, исполнит просьбу: потолкует по-свойски с духом кладбища, уговорит его. Будут дочки лежать в тепле, в спокойствии до самой весны. Говорить напрямую с духом кладбища Зулейха побаивалась — все-таки она простая женщина, не *ошкеруче*.

Она благодарит *басу капка иясе* — низко кланяется в темноту — и спешит домой, скорее, пока Муртаза от Упырихи не вы-

шел. Когда вбегает в сени, муж еще у матери. Она благодарит Всевышнего — опахивает лицо ладонями: да, сегодня он действительно на стороне Зулейхи.

В тепле сразу накрывает усталость. Руки и ноги — чугунные, голова — ватная. Тело просит одного — покоя. Она быстро подтапливает остывшую с утра печь. Раскладывает на сяке табын для Муртазы, мечет на него еды. Бежит в зимний хлев, подтапливает печь и там. Задает животным, убирает за ними. Ведет жеребенка к Сандугач на вечернее кормление. Доит Кюбелек, процеживает молоко. Достает с высоких киштэ мужнины подушки, взбивает (Муртаза любит спать высоко). Наконец можно уйти к себе, в запечье.

Обычно на сундуках спят дети, а взрослым женщинам полагается небольшая часть сяке, отделенная от мужской половины плотной чыбылдык. Но пятнадцатилетняя Зулейха была такого маленького роста, когда пришла в дом Муртазы, что Упыриха в первый же день сказала, воткнув в невестку тогда еще яркие изжелта-карие глаза: “Эта маломерка и с сундука не свалится”. И Зулейху поселили на большом старом сундуке, обитом жестяными пластинами и блестящими выпуклыми гвоздями. С тех пор она больше не росла — переселяться куда-то не было необходимости. А сяке полностью занял Муртаза.

Зулейха раскладывает на сундуке матрас, одеяло, стягивает через голову кульмэк и начинает расплетать косы. Пальцы не слушаются, голова падает на грудь. Сквозь полусон слышит — хлопает дверь: возвращается Муртаза.

— Ты здесь, женщина? — спрашивает с мужской половины. — Затопи-ка баню. Мама хочет помыться.

Зулейха утыкает лицо в ладони. На баню нужно много времени. Да еще и Упыриху мыть... Где взять силы? Еще бы только пару мгновений вот так посидеть, не шевелясь. И силы придут... и она встанет... и затопит...

— Спать вздумала?! На телеге спишь, дома спишь. Права мама: лентяйка!

Зулейха вскакивает.

Муртаза стоит перед ее сундуком, в одной руке — керосинка с неровным огоньком внутри, широкий подбородок с глубокой ямкой посередине гневно напряжен. Дрожащая тень мужа закрывает полпечи.

— Бегу, бегу, Муртаза, — говорит хриплым голосом.

И бежит.

Сначала расчистить в снегу дорожку к бане (утром не чистила — не знала, что придется топить). Затем натаскать воды из колодца — двадцать ведер, Упыриха любит поплескаться. Растопить печь. Сыпануть орехов бичуре за скамью, чтобы не шалила, не гасила печь, не подпускала угара, не мешала париться. Вымыть полы. Замочить веники. Принести с чердака сушеных трав: череды — для омовения женских и мужских тайных мест, мяты — для вкусного пара; заварить. Расстелить чистый палас в предбаннике. Принести чистое белье — для Упырихи, для Муртазы, для себя. Не забыть подушки и кувшин с холодной питьевой водой.

Баню Муртаза поставил в углу двора, за амбаром и хлевом. Печь клал *по современному методу*: долго возился с чертежами в привезенном из Казани журнале, беззвучно шевелил губами, вода широким ногтем по желтым страницам; несколько дней укладывал кирпичи, то и дело сверяясь с рисунком. На казанском заводе прусского фабриканта Дизе заказал по размерам стальной бак — и поставил его точно на предназначенный крутой уступ, гладко примазал глиной. Такая печь и баню топила, и воду грела быстро, только успевай подтапливать, — загляденье, а не печь. Сам мулла-хазрэт приходил посмотреть, потом заказал для себя такую же.

Пока управлялась с делами, усталость спряталась куда-то глубоко, притаилась, скрутилась клубком — не то в затылке, не то в позвоночнике. Скоро вылезет — накроет плотной волной, собьет с ног, утопит. Но это когда еще будет. А пока: баня разогрелась — можно звать Упыриху мыться.



Муртаза входил к матери без стука, а Зулейхе полагалось долго и громко стучать ногами о пол перед дверью, чтобы старуха была готова к ее приходу. Если Упыриха бодрствовала, то чувствовала дрожание половых досок и встречала невестку суровым взглядом слепых глазниц. Если спала — Зулейха должна была немедленно выйти и зайти позже.

“Может, заснула?” — надеется Зулейха, старательно топоча у входа в избу свекрови. Толкает дверь, просовывает голову в щель.

Три большие керосиновые лампы в ажурных металлических подставках ярко освещают просторную комнату (Упыриха всегда зажигает их к вечернему приходу Муртазы). Отскобленные тонким ножом и натертые речным песком до медового сияния полы (Зулейха летом всю кожу на пальцах ободрала, начищая); снежно-белые кружева на окнах — накрахмаленные так жестко, что можно порезаться; в простенках — нарядные красно-зеленые тастымал и овальное зеркало, такое огромное, что если Зулейха вставала перед ним, то отражалась вся, от макушки до пяток. Большие напольные часы сверкают янтарным лаком, латунный маятник отстукивает время медленно и неумолимо. Чуть потрескивает желтый огонь в высокой, крытой изразцами печи (ее Муртаза топил сам, Зулейхе не разрешалось притрагиваться). Паутинно-тонкая шелковая кашага под потолком обрамляет комнату, как дорогая рама.

В почетном углу — туре — на могучей железной кровати с литой узорной спинкой, утопая в холмах взбитых подушек, восседает старуха. Ноги ее в молочного цвета мягких ката, расшитых цветной тесьмой, стоят на полу. Голова, повязанная длинным белым платком по-старушечьи, по самые клочковатые брови, стоит на обвисшей мешком шее прямо и твердо. Высокие и широкие скулы подпирают узкие щели глаз, треугольные от косо нависающих с боков дряблых век.

— Так и умереть можно, дожидаясь, пока ты баню растопишь, — спокойно произносит свекровь.

Рот ее впал и морщинист, как старая гусиная гузка, зубов почти нет, но говорит четко, внятно.

“Как же, умрешь ты, — думает Зулейха, просачиваясь в комнату. — Еще на моих похоронах обо мне гадости рассказывать будешь”.

— Но не надейся, я долго жить собираюсь, — продолжает та. Откладывает в сторону яшмовые четки, нащупывает рядом потемневшую от времени клюку. — Мы с Муртазой всех вас переживем, мы — крепкого корня и от хорошего дерева растем.

“Сейчас про мой гнилой корень скажет”, — обреченно вздыхает Зулейха, поднося старухе длинную собачью ягу*, меховой колпак и валенки.

— Не то что ты, жидкокровая. — Старуха вытягивает вперед костлявую ногу, Зулейха осторожно снимает с нее мягкий, словно пуховый, ката и надевает высокий жесткий валенок. — Ни ростом, ни лицом не вышла. Может, конечно, между ног у тебя в молодости медом намазано было, да ведь и это место не больно здоровым оказалось, а? Одних девок на свет принесла — и то ни одна не вышла.

Зулейха слишком сильно тянет за второй ката, и старуха вскрикивает от боли.

— Полегче, девчонка! Я правду говорю, сама знаешь. Кончается твой род, худокостая, вырождается. Оно и правильно: гнилому корню — гнить, а здоровому — жить.

Упыриха опирается о клюку, поднимается с кровати и сразу становится выше Зулейхи на целую голову. Задирает широкий, похожий на копыто подбородок, устремляет белые глаза в потолок:

— Всевышний послал мне нынче сон про это.

Зулейха накидывает ягу Упырихе на плечи, надевает меховой колпак, заматывает шею мягкой шалью.

* Род шубы, тулупа халатного покроя.

Аллах всемогущий, опять сон! Свекровь редко видела сны, но те, что приходили к ней, оказывались вещими: странные, иногда жуткие, полные намеков и недосказанностей видения, в которых грядущее отражалось расплывчато и искаженно, как в мутном кривом зеркале. Даже у самой Упырихи не всегда получалось разгадать их смысл. Спустя пару недель или месяцев тайна обязательно раскрывалась — происходило что-то, чаще — плохое, реже — хорошее, но всегда — важное, с извращенной точностью повторявшее картину полузабытого к тому времени сна.

Старая ведьма никогда не ошибалась. В тысяча девятьсот пятнадцатом, сразу после свадьбы сына, ей привиделся Муртаза, бредущий меж красных цветов. Разгадать сон не сумели, но скоро в хозяйстве случился пожар, дотла сгорели амбар и старая баня — и отгадка была найдена. Через пару месяцев старуха видела ночью гору желтых черепов с крупными рогами и предсказала эпидемию ящура, который выкосил весь скот в Юлбаше. Следующие десять лет сны приходили сплошь печальные и страшные: детские рубашечки, одиноко плывущие по реке; расколотые надвое колыбельки; цыплята, утопающие в крови... За это время Зулейха родила и тут же похоронила четверых дочерей. Страшным было и видение про Большой голод в двадцать первом: свекрови явился воздух, черный, как сажа, — люди плавали в нем, как в воде, и медленно растворялись, постепенно теряя руки, ноги, головы.

— Долго мы здесь еще потеть будем? — старуха нетерпеливо стучит клюкой и первая направляется к двери. — Хочешь распарить меня перед улицей и застудить?!

Зулейха торопливо прикручивает фитильки керосинки и спешит следом.

На крыльце Упыриха останавливается — на улицу одна не выходит. Зулейха подхватывает свекровь за локоть — та больно вонзает длинные узловатые пальцы ей в руку — и ведет в баню. Идут медленно, осторожно переставляя ноги по зыбучему снегу, — метель не утихла, и дорожка вновь наполовину заметена.